

... И памятник стоял, как брат
Тем польским рощам,
Где лег навеки наш солдат.
– Поляки ропщут.
– Поляки ли, сынок?
Где боль та польска?
Когда их русский воин смог
Спасти небесным войском?...
Где Аушвиц, где Собибор,
Варшавское где гетто?
– Ах, мама, это ведь позор,
Когда их честь задета!
– Какая честь, какой крови
Ты ищешь всплески? –
Смотри, сынок, огонь горит
В том дальнем перелеске.
И у костра сидит поляк
С советским автоматом,
Там рядом фриц лежит, как хряк,
А русский кроет матом
И говорит: «Как ты его!
Я б не сумел так ловко!»
А тот: «Он выжег все мое село.
А из крестов – подковки!» –
И русский у костра всплакнул,
Свои несчастья вспомнив...
Из этих польско-русских скул
Тот скульптор все и отлил.
... И памятник стоял, как брат
Тем польским рощам...

*Памяти моих учителей –
ветеранов Великой Отечественной войны*

Они входили в наши классы,
Медалями еще не отзвенев.
Они работали, не зная слова «касса»,
А зная только песни той напев:
«Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...».
И я конспектами шуршал, их слушая,
Печалился – ну что ж я не такой?
Нет, не такой, как строгие мужчины,
Еще не деды – гарны молодцы!
И плакал я потом не без причины:
Где же вы теперь, познания отцы,
Которые учили нас не букве,
А сути бывших, да и нынешних времен,
Чтоб мы потом, как будто в ночь на Буге,
Не изменяли цвету пламенных знамен.

ВОСПОМИНАНИЕ

Г.Г. Сильницкому

Мы ходили по Лувру,
читали картины,
ища в них
первородные смыслы
и находя свои отраженья.
Дома, в России, как всегда,
было нестабильно и скудно,
но глаза у нас страстно
светились, открываясь навстречу
желанным знакомым –
картинам и людям...
Подошел большой
бородатый мужчина,
ремнем подпоясанный:
кожа ремня была дорогой

и светилась от блеска
роскошной пряжки.
Темно-зеленый камзол
походил на форму
старинных гвардейцев.
Носитель его говорил
на отборном французском:
сказал, что он эмигрант,
и это взбудрило
моего старшего друга.
Под их беседу неспешную
вот что подумалось мне:
Париж, Лувр, картины,
где-то рядом Orsay, с верхнего
яруса которого видна базилика
Sacré-Coeur de Montmartre;
два пожилых человека,
мирно сошедшихся из разных
вселенных, но говорящих на общем
для них языке; я, уже
немолодой наблюдатель;
оба собеседника – эмигранты
относительно их нынешних
родин – и все это под рамами
великих полотен Лувра,
которые в большинстве своем –
эмигранты ведь тоже.
Мы трое замерли
посреди одного из залов:
мгновенья транзитов судеб –
и вечный Париж...
Было жаль, что великие,
которые могли бы запечатлеть нас
в этом импрессионистском обличье,
уже значились на рамах картин!

Владимиру Макаренкову

Когда во мне сжимаются спирали
Грядущих бед,
А все, что люди мне сказали, –
Дремучий бред,
Тогда приди ко мне, друг старый,
Играй и говори,
Терзай стихи и тереби гитару,
Встреть свет зари
Со мной – не уходи беспечно,
Не торопи свой шаг.
И ты увидишь отсвет встречный
Двойной звезды – Душа.

НОВЫЙ ГОД

В обветшалых домах
Ярко светятся елки,
Словно елки и есть
Наша гордость и честь.
Мчится детская рать
Раскатать все пригорки,
Навострив своих санок
Деревяшки и жесьть.
И какую-то блажь
Обещает Правитель.
Он – сто пятый у нас,
А мы-то одни...
Тихо падает снег.
Дети, вы соберите
Разогретой ладошкой
Все снежинки – годы и дни!

SILENTIUM

Я выключил звук –
и актеры возникли,
в молчании глаз,
улыбок и жестов,
в своих интервью
громким телеканалам.
Они раскрывались,
словно раковины
под прозрачной водой,
неслышно смыкая
створки ладоней...
И подумалось мне:
истинен лишь актер,
кто умеет играть беззвучно,
кто умеет играть бессловесно,
чтобы потом захотелось
звук врубить на полную
МОЩНОСТЬ!!!

РОЖДЕСТВО

Притаились детушки
у мамок на руках.
Притаились смертушки
в темных облаках.
Притаились радости
в листках календарей.
Притаились гадости
в планах упырей.
В этот час притихший
приходи в наш скит:
вот он, наш Всевышний, –
в ясельках лежит...

ПАМЯТЬ

Над ночным обелиском
И судьбой моей над,
То высоко, то низко –
Кружит птица-война.
Черной памятью стала:
Не забыв ни бойца,
Как цветы, к пьедесталам,
Носит наши сердца.

Над нашим селом восходили дымы...
Печки топились деревом трудоднёвым.
Затирку белую трескали мы
И теснились друг к другу под одеялом тканёвым.
День начинался с ласканья телка,
С его мокрым носом и глазом бездонным,
С родного шершавого языка,
И с молока его мамы в побитом бидоне.
Ах, Бидонвиль моих бедственных детств,
Жизнь без отца, но с дедами и тётями –
На изыски прочих искусств и естеств
Не променяю великую оперу,
В какой петухи утром выше Карузо,
И запах коров ароматней «Шанели»,
А «кукурузников» пыльное пузо
Дороже дырявящих небо гигантских изделий.
Наши деды и дяди тесали нам лыжи,
А отцы не успели – они не вернулись,
Но не поэтому я взял, да и выжил,
И не потому, что кормились мы с улиц.
А потому, что не было крепче
Уз наших с божеским миром,
И пусть он порой был тусклым и сирым –
Все же был он любовью увенчан.
Вот почему, как бывало когда-то,
Я в небе ищу дымы наших печек. –
Там облаков золотые телята
Гуляют в компании белых овечек.

В нашем доме пахло овчиной.
(Впрочем, дом был вовсе не наш).
Заходили, курили мужчины,
Никогда не являли кураж.
Привозили мясо парное
Прямо утром убитых овец,
Уходили по двое, по трое,
Не отягчив ничем чистых сердец.
Возвращались с ничтожным добытком,
Пьяные в стельку от дружеских браг,
И детям тянули суровую нитку
С петушками из сахара – и не было благ
Нам, безотцовщине послевоенной,
Дороже, чем от душистых тех мужиков.
Мы выросли. Все – обыкновенно.
Но я им благодарен – во веки веков!

Однажды мне под руку вышло:
Обрезать старую фотографию,
Чтобы вошла в новое место
В таком же старом, как она, альбоме.
Я взял ножницы – и занесся
Над берегом речки прозрачной,
Над верхушками пышных деревьев.
Под ножками девочек юных,
Играющих в мячик неясный,
Под пачками с чем-то
Как будто съедобным;
Под занавес странного лета
Или лета ребяческих странностей;
Вновь, однако, над облаком – в виде
То ли попы прекрасной,
То ли головы Карла Маркса.
Сбоку от вывески «Мороженое»,
И от парня с пьяною рожей.
И тогда я взял и сломал ножницы.
А фото повесил на стену.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Я подошел к щемящей тишине,
сочащейся из простенького гроба.
Пронзила мысль – она явилась мне,
что эту тишину мы излучали оба. –
Молчали мы за всю громаду лет,
нас разделивших, словно горной цепью;
за тонну писем с вечным словом «нет»;
за горькое невестуч великолепье;
за разность судеб наших, но моих-твоих детей;
за то, что им не встретиться в незнание;
за то, что избежали мы клетей
тюрьмы, зовущейся «семьей»... –
И снова я вступил в то зданье
прозрачной между нами тишины,
которой, молча, были мы полны. –
Мы говорили этой тишиной
на языке, неведомом живущим...
И в этом разговоре ты со мной
была верней всех жен – и лучше!

К огню Вселенскому склоняясь,
Я по ночам так горько плакал,
О том, что не дал Бог мне власть
Стать невесомым и крылатым, –
Чтобы лететь в желанный свод
Миров далеких и прекрасных,
Чтоб встретить там иной народ,
Живущий жизнью чистой, ясной.
Чтоб стал я новый Гулливер,
Познавший все секреты люда,
Принявшего от разных вер
Лишь доброты святое чудо,
Лишь зерна искренней любви
От существа к созданию иному,
Лишь зов к единству той крови,
Которая, подобно слову,
Нас обретает, как сосуд,
Хранясь в нем, но не проливаясь.

И улыбнулся мудрый люд
Моим стремлениям чудесным
И хрупкий мне вручил сосуд...
Я так летел домой, что он не треснул!

У меня на небе все больше адресов
И имен, как птах крылатых, больше.
Только я все чаще к кипам тех лесов
Жмусь, что сердцем ближе к Польше.
Выбираю дату: самый первый день,
Тот, который многим стал последним.
Утро наступало – отступала тень,
И оркестры били самой яркой медью.
Ах, в каких бы храмах, да слепой звонарь
Грянул бы вперед Бога и молитвы,
Да ведь правил нами вождь, а не главарь:
Были все равно колокола разбиты.
И, обидясь, нас да не услышал Бог, –
Что ему, великому, школьные оркестры?
До сих пор стою среди ста дорог
Камешком крестильным жениха с невестой...

ХОЗЯИН

Я видел прилетевшего грача:
Он деловито обходил площадку
С травую чахлою еще и, гогоча,
На палых ветках отработывая хватку
Прораба и ремонтника тех гнезд,
Что ветры зимние изрядно потрепали.
Он забывал те сотни трудных верст,
Что на пути ему в Россию перепали.
И были оба мы довольны оттого,
Что зимы и дороги нас не взяли.
Но все ж я больше любовался на него:
Есть у земли моей родной хозяин!

На сорок дней после ухода
Купи мне сорок черных лебедей
И выпусти их, милых, на свободу
В чреду уже не наших дней.
И пусть летят и склеивают звезды
С твоих небес, да и моих небес.
Я так хочу, чтоб ты не мерзла
Теперь, когда я сам без буквы С°. .
И чтоб, когда людского тела
Мне не предоставил милый Бог,
Я так хочу, чтоб ты в меня смотрела,
Как в продолжение земных дорог!

ВОСПОМИНАНИЕ О СЕБЕ

Чай тянули тетки из блюдец...
Тетки умерли, блюдаца разбились.
Помню я, безотцовский ублюдец,
Пару слов: «студебеккер» и «виллис»,
Да фонарик, что звали «даймоном»
(Теперь знаю, что надо бы Diamond),
Да войну, со всем ее ломом,
Да наш взрыд на улицах: «Дай, дядь!»
Так ведь выросли, чертова раса,
Так ведь кое-чего добились...
Но отцовы ладони, с их лаской,
Так и снятся – как в детстве снились.